

Старое было времечко, спокойное, как степная река. Текло, перекатываясь ленивыми волнами, утекало промеж сонных берегов к разливному устью. Устье времени было богатым, праздным, цветущим. Сочная трава-мурава кормила всё живое впрок, готовила к бурной, смутной будущности.

В пору мирного приволья жила на селе старушка. Скромно доживала она свой долгий век в избушке на краю леса, почитай у самого сельского погоста, будто бы заранее готовилась отдать Богу душу да давно уж сдружилась со смертью. Но подруга всё не спешила к ней на огонёк её жизни, всё скрипела костьюми где-то рядом, околышком, а в дверь не стучалась.

Рано поутру вставала старушка к заутрене, молилась, истово крестясь на сельскую церковь, на новое солнышко, на всё живое

кругом, славила белый свет. И смиренно готовилась отойти в мир иной с лёгким сердцем. Одно только горе омрачало её последние дни: прожила она долго, а детей так и не нажила.

Раз выдалось дождливое, жаркое лето. Грибов да ягод уродилось видимо-невидимо! Вот собрала старушка корзинку, платком подвязалась и пошла в лес по ягоды. Долго брела она, опираясь на суковатую палку, раздвигала ею траву, все глаза свои слабые проглядела – пропала ягода, как сквозь землю ушла! Думала она уже домой поворачивать не солено хлебавши, как вдруг заслышила вдали чью-то песню. Странной была та песня, небывалой: не то птица плачет по-человечьи, не то девица малой пичугой разливается.

Пошла старушка на звуки и набрела на целую полянку земляники. Ягода как на подбор: крупная, спелая, сладкая, словно дикий мёд. А над той полянкой кружит птичка. Да не простая птичка – солнечный луч так и светит сквозь её прозрачное, звонкое тельце, и вся-то она сияет, радугой переливается. Вот полетает она над полянкой, напоётся – да и нырнёт за ягодкой. Полетает ещё – и опять нырнёт.

Подивилась старушка на диковинное создание. Дай, думает, приманю её. Нарвала земляники и в ладошке протянула. А пичуге того и надо: слетела в руку, бесстрашная, и ну лакомиться!

Смотрит старушка: птичка будто стеклянная вся, и все-все косточки её сквозь тельце виднеются. А ягоду не столько клюёт, сколько пьёт, и от сока земляничного будто румянцем наливается. Сидит, сердечная, улетать и не думает. Вот напилась – заалела у ней грудка, заволновалась. Разошлась она песней переливной, и так сделалось хорошо на душе у старушки от той песни, так легко и так грустно, будто вот она и преставилась уже. «Да никак ты смертушка моя? – думает старушка. – Вот и ладненько, давно пора».

Посадила она птичку в корзинку, набрала ей побольше сладких ягод, платочком прикрыла да и понесла в свою избу. Обрадованная, что помирать скоро, затопила старушка баню пожарче, как в последний раз, расплела долгую седую косу, и волосы её

молочными реками пролились на пол. Вот выпарились старушка на славу, вымылась в семи водах, умастила волосы травами да настоящими и пошла проведать, как там стеклянная птичка.

Открывает корзинку – нет как нет! Растила птичка от банныго жара, что в избу проник. Остались от неё только маленькие стеклянные косточки в лужице воды, красной как кровь. Взяла те косточки старушка, увязала в платок, поплакала немного да и закопала на погосте.

Ночью ветер заходился под окнами бесприютным воем, будто стая волков свадьбу играла. Старушка глаз не сомкнула до самой зари – так-то ей тревожно было, так-то страшно! Что теперь будет с нею? Саму смерть на погосте зарыла – как людям в глаза смотреть? Вся измучилась, извелась. Едва только новый день по горизонту золотом мазнул – старушка уж на ногах. Вышла на крыльцо – да так и ахнула! Идёт к ней напрямки девица: высокая, собою пригожая; руки у ней тонкие, шея долгая, глаза большие. Только кожа до того белая, что аж просвечивает, и ни цвету в ней как будто, ни жизни. А надето на ней почитай что и ничего. Одним куском замызганым прикрывается. Пригляделась старушка: «Господи, прости! Да это ж мой платок!»

– Кто ты будешь, милая? – спрашивает.

А девица молчит, только глазами белёсими хлопает да седой свой волос на палец наматывает. Стала было расспрашивать девицу, как её зовут, а та всё молчит.

Провела тогда старушка её в дом, уговаривает, чем бог послал: «Кушай, дочка, сил набирайся. Вон какая бледная! Может, и словечко молвишь». А девица всё молчит, будто воды в рот набрала, к еде не притрагивается. Достала тогда старушка прошлогоднее варенье с погреба: «На-тко, полакомься, дочка». Девица взяла да и съела всё варенье. А как съела, так даже щёчки у ней порозовели и губы спелой ягодкой налились.

Смекнула тут старушка, что к чему: «Вот уж диковинную дочку мне Бог послал на старости лет!» Открыла она сундук, достала лучший свой девичий сарафан – расписной, красный, с каймой да оторочками, обрядила девицу, бусами тяжёлыми шею

увила, белый волос под плат убрала – вот вроде как и дочка сделалась. Взглянула на неё старушка – будто себя в юности увидала. И назвала её так, как когда-то её саму кликали, – Живочкой.

И стали они жить ладком, по-семейному. Живочка оказалась истинным сокровищем: и в быту помощница, и глазам старым отрада, и скромница такая, что лишней крошки в рот не возьмёт. Уйдёт порой в лес, соберёт две корзины ягод, сама съест горсточку – тем и сыта. Подзагорела она на летнем солнышке, волос потемнел, медью багряной налился, глаза зелёной росистой травой засверкали. Словом, хороша сделалась девка! Только как была немая, так и осталась. А старушке и ладно: меньше трескотни – больше пользы.

Зато по вечерам любила Живочка петь. Сядет за кросна, ткёт, а сама соловушкой заливается. Так пела, что лесные птицы смолкали, чтобы её послушать. Звенит голосок у ей, что твой хрусталь, издали и не понять, что девица поёт – будто птица какая по-человечки плачет. Однажды проходил мимо поп, да и заслушался, как Живочка поёт.

– Уж не ангел ли поселился у тебя, бабушка? – спрашивает он старушку.

– То моя дочка Живочка на кроснах ткёт.

– Как же ты прятала её всё это время? Почему в церковь не вела? Это грех. Приводи в воскресенье, пусть в нашем хоре поёт твоя Живочка.

Но как ни учил её поп, как ни упрашивала старушка, ни одного канона не смогла разучить Живочка, а пела всё по-своему, по-тичиюму, как на душу ляжет, и от песни той у всех, кто слышал, щемило сердце в невыразимой, светлой грусти. Поп стал сторониться Живочку – уж больно тянули её зелёные глаза, уж больно чужая была она миру людей.

Повадился было свататься к Живочке местный молодец. Всюду ходил за ней по пятам, помогал ягоды собирать в лесу, слушал её песни и день ото дня всё жарче разгорался к ней страстью. «Всё для тебя сделаю, – говорил. – Новую избу справлю, хозяйство налажу, сам его буду вести. Хоть что делай, хоть век со мной

молчи – только пой мне, Живочка». Улыбалась ему девица, да и только. Ответа не давала. Но видела старушка: трогает молодец сердце её дочке, и пела она теперь только для него одного.

А год уже к осени поворачивает. Убрали хлеб, заготовили солений на зиму. У кого яблоки мочёные, у кого капуста квашеная, а у кого грибы сушёные – вот и запаслись. Наварила старушка варенья впрок, чтобы Живочеке на всю зиму хватило.

Пришли дожди, с ними и холод, а там и первый снег выпал. Дни стали короче,тише и чище. Летнее буйство жизни отгорело, и природа спокойно и отрешённо взглядалась в самоё себя сквозь тонкое стекло народившегося утреннего ледка. Вместе с природой угасла и Живочка: краска сошла с её лица, уступая прозрачной, синеватой белизне, седина вновь тронула её медно-рыжие кудри, а травяные глаза замутились и поблёкли, как у старухи. Опечалилась Живочка, по целым дням в избе прячется, к жениху своему и носа не высовывает. Пробовала старушка лесными запасами откормить дочку, да куда там! К зиме всё подъела Живочка, а день ото дня только прозрачнее становилась, что та стеклянная птичка. И даже петь перестала совсем.

Поняла тут старушка: делать нечего, пришла, стало быть, пора. Взяла она нож и украдкой порезала себе руку, нацедила крови в кружку и подносит Живочеке: «Раздобыла, – говорит, – соку живительного. Пей, дочка». Выпила Живочка крови, и в тот же миг краска вернулась на её лицо, зажгла щёки румянцем, налила волос тяжёлой медью. Рассмеялась Живочка, залилась соловьём посреди зимы и побежала вон из избы – с женихом в снежки играть да на салазках кататься. А старушка перетянула руку потуже тряпицей. Боли она не чуяла.

Всю зиму старушка кормила Живочку своей кровью, так что к весне совсем высохла и иссякла, словно затхлый ручей на мёртвой земле.

Остались от старушки одни только косточки, и были они совсем прозрачные, будто стеклянные. Живочка, молодая, цветущая девушка, собрала их в платок, поплакала маленько да и схоронила на сельском погосте. Всю ночь потом ветер выл за окнами, будто

стая голодных волков, а утром лишь порскнула в небе маленькая птичка, прозрачная, как тонкий лёд, и улетела в неведомую даль.

– Одна ты осталась, Живочка, – сказал ей жених. – Теперь я о тебе позабочусь. Будешь петь мне и нашим детям днями напролёт.

Он думал, что девица, как всегда, только головой качнёт, но Живочка усмехнулась вдруг и сказала:

– И на кой тебе старуха сдалась? Пойди, посватайся к молодой девке, уж она-то тебя обогреет, а мои холодные косточки тебе не понравятся.

И ушла своей дорогой, приговаривая:

– Вот бы смерть прибрала поскорее...